

Валерия Алфеева

# ДЖВАРИ



Валерия Алфеева

**Джвари**

Торговый Дом "Познание"

1989

УДК 281.97:82-31  
ББК 86.372-84(2)6

**Алфеева В. А.**

Джвари / В. А. Алфеева — Торговый Дом "Познание", 1989

ISBN 978-5-6044871-7-4

Читатель повести «Джвари», следуя по пути паломничества героини и ее сына по святым местам Грузии, открывает для себя глубину и радость православной веры. По-грузински «джвари» означает «крест», этот образ пронизывает текст и служит знаком тайны Божественного замысла о каждом человеке.

УДК 281.97:82-31

ББК 86.372-84(2)6

ISBN 978-5-6044871-7-4

© Алфеева В. А., 1989

© Торговый Дом "Познание", 1989

## Содержание

От редакции	6
«Чертог Твой вижду»	9
«Да исправится молитва моя...»	19
Лорелея и другие	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# **Валерия Алфеева**

## **Джвари**

ДОПУЩЕНО К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ РУССКОЙ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ИС Р19-908-0307

© Алфеева В.А., текст, 1989

© Издательский дом «Познание» оформление, 2020

\* \* \*

## От редакции

*Повесть Валерии Алфеевой «Джвари» была написана в 1983 году под впечатлением от паломничества, которое она совершила вместе с пятнадцатилетним сыном в один из грузинских монастырей.*

*В монастыре Джвари, расположенном «там, где сливаясь шумят струи Арагвы и Курь», в то время еще не было монашесствующих. Валерия Алфеева посетила другой монастырь, но в повести заменила его название на более известное. Имена действующих лиц тоже изменены.*

*Повесть воскрешает подлинные судьбы и события, и это придаёт ей особую ценность. Перед нами не фантазия литератора, а воспоминание о том, как начиналось возрождение церковной жизни в одном из монастырей, – с богослужением в маленьком храме рядом с ещё не восстановленным древним, с разговорами о вере и Боге, праздниками и искушениями, с солнечными днями и грозами. Валерия Алфеева показывает монахов живыми людьми, не идеализируя и не поэтизируя их. У каждого из них своя судьба, иногда изломанная и трагическая. Но каждый по-своему стремится приблизиться к Богу – найти Путь, и Истину, и Жизнь.*

*Написанная в ту эпоху, когда никакая литература на религиозную тему в стране не издавалась, повесть несколько лет пролежала в столе автора, пока не была издана почти трёхмиллионным тиражом в самом популярном журнале «Новый мир» в 1989 году. Это было первое художественное произведение нашего современника на религиозный сюжет, появившееся в России после семидесяти лет запрета на Бога.*

*Сегодня в книжных магазинах изобилие религиозной литературы, и никого не удивишь рассказами о паломничествах. Но повесть «Джвари» уникальна не только потому, что была первой. Она отличается от многих других произведений на духовные темы своей яркостью, поэтичностью. Язык автора выразителен, даже изыскан, но в то же время лишен манерности или искусственности.*

*Это очень искренняя, сердечная и добрая проза. В ней всё подлинно, нет примеси фальши. И всё зримо, и пронизано радостью, словно залито солнечным светом оттого, что автор входит в бесконечный мир Православия, открывая для себя и для читателя «инаго бытия вечного начало».*

\* \* \*

*Посвящаю сыну*

*Чертюг Твой виждю, Спасе мой, украшенный,  
и одежды не имам да вниду в огъ.  
Просвети одеяние души моея, Светодавче,  
и спаси мя.*

**Экзапостиларий Страстного Четверга**



*Сонм ангелов. Фреска. Пещерная церковь комплекса монастырей Давид Гареджи. Грузия, Кахетия. XIII в.*



*Благословляющий ангел. Пещерная церковь монастыря Вардзиа. Грузия, Джавахетия.  
XII в.*

## «Чертог Твой вижду»



Три ангела. Фрагмент фрески «Гостеприимство Авраама». Церковь Преображения (Зарзма) монастыря Шемокведи. Грузия, Гурия. XIV в.

Отец Давид вел нас в монастырь.

Мы долго ехали на машине, а когда дорога кончилась, пошли через зеленый луг к лесу. За ним синели дальние горы. Июльское утро тихо наливалось солнечным светом и зноем.

Рыжебородый, в джинсах и клетчатой рубашке, с тяжелым рюкзаком, отец Давид неспешно шел по траве между мной и моим сыном и рассказывал, как сам был послушником в Джвари, впрочем, очень недолго.

– Жена спрашивает: «Ты что же, хочешь уйти в монастырь?» Я говорю: «Как не хотеть... Конечно, хочу». – «Можешь уходить, я тебя не держу». Я бросил жену и детей, стал послушником. Тогда и увидел, как «бесы выгоняют монахов в мир». По ночам просыпался от страха: казалось, что-то случилось и надо ехать домой, пока не поздно.

Вместе с игуменом мы и отправились на переговоры. Отец Михаил говорит Тамаре, моей жене: «Давид будет хорошим монахом. А как ты одна вырастишь троих детей? Может, ты сгоряча его отпустила?» У нас в Грузинской Церкви женатого человека могут принять в монастырь только если жена не против. Конечно, она отпустила меня сгоряча, от обиды. Да и я не должен был их оставлять: старшему сыну было только четыре года.



– Больше не хотите в монастырь?

– В монастырь я всегда хочу. Но придется подождать лет пятнадцать, пока дети вырастут, – смеется он.

С тех пор он впервые решил посетить Джвари – уже священником.

Дорога ведет через зеленый туннель из старых вязов.

Когда-то по ней шли арбы из монастыря и лежащих вокруг селений. Она давно заброшена и устлана отсыревшей прошлогодней листвой.

Потом кончается и эта дорога, дальше сухие тропинки разбредаются в перегретом лесу, поднимаются к перевалу.

Часа через полтора выходим на узкую седловину, переброшенную, как мост между двумя ущельями.

Справа ущелье раскрыто широко и тянется до горизонта. В глубине под нами черной точкой кружит коршун, обозначив высоту птичьего полета. Еще глубже сверкающей и будто неподвижной лентой вьется речка, разделяя лесистые склоны.

Слева ущелье узкое, сплошь заросшее. На противоположном его хребте стоят два тополя, похожие на заячьи уши, под ними поляна с одиноким хутором и стогами.

Отец Давид говорит, что хутор так и называют – Заячьи Уши. А вокруг далеко нет жилья и такие глухие леса, что очень просто уйти и не вернуться. Год назад ушел из монастыря пожилой реставратор и двадцать дней блуждал по горам, не встретив ни жилья, ни дороги, – нашли его через день после смерти. В другой раз дьякон, совсем молодой, шел в Джвари и сорвался с этой седловины.

Митя стоит на валуне над обрывом и смотрит вниз – тоненький мальчик с выгоревшими волосами под чистой небесной голубизной.

– Жалко... – говорит он, – даже священником не успел стать.

Отец Давид поднял голову.

– Ты думаешь, если священником стал, можно и умирать?

Он прислонился рюкзаком к стволу: рюкзак мы вместе набивали кругами свежего хлеба, сахаром, чаем, крупами, а еще пакетами мясного супа для монастырских собак.

Пока мы отдыхаем, он рассказывает, как двенадцать лет назад увидел Джвари впервые. Шли с другом весь день, заблудились, устали и уже не надеялись найти монастырь, когда вышли на седловину. Она показалась опасно узкой. Друг пошел один посмотреть, что за ней. Потом позвал.

– Был сентябрь... В ущельях уже темнело. А над монастырем солнце садится, и лес вокруг желтый, красный, зеленый. Ржавая крыша храма тоже показалась золотой на закате...

Когда он умолкает, лицо кажется закрытым, пока не озарится внимательным взглядом. А сейчас в глазах его как будто еще стоят отсветы того заката.

– Я попрошу о вас, Вероника... Но думаю, что это не поможет. Вы – исключение уже потому, что придете со мной. Игумен никому не разрешает приводить женщин. Он свою мать принимает только на двадцать минут.

Что это был бы за монастырь, если бы туда ходили матери, сестры, подруги?

Отец Давид шел впереди по крутому склону. Потом остановился, впервые за всю дорогу снял рюкзак и, глядя вниз, в просвет между деревьями, перекрестился.

Мы оказались на краю чаши, замкнувшей светлый горный простор. Над ним стояла прозрачная синева с летучими облачками. Горы нисходили к середине чаши зелеными склонами, уступами, желтыми обрывами. И там, в центральной точке видимого мира, над зеленью поляны стоял древний светлый храм с высоким барабаном и пирамидальным куполом. Храм завершал собой этот наполненный зноем, солнцем и тишиной простор, был его светящейся сердцевиной.

– Если крикнуть отсюда, там услышат... – И отец Давид приложил ладони ко рту. – Мамао<sup>1</sup> Микаэл! Ма-мао Ми-ка-эл!

Отозвалось только дальнее эхо.

Тропинки вливались в узкие ложа давно пересохших ручьев. В пору таяния снегов они несутся здесь, оставляя в каменистой породе ступенчатые изломы. А теперь мы спускаемся по ним, хватаясь за обнаженные корневища, опираясь на оба берега сразу. У чистой речки, мелко разлившейся по дну ущелья, сделали последний привал и умылись. Остался подъем на противоположный склон. Ворота были закрыты. Мы поднялись вдоль стены, вошли в калитку

---

<sup>1</sup> Отец (груз.)

и оказались возле открытой террасы второго этажа старого дома. Оттуда по каменной лесенке спустились вниз.

Отец Давид опередил нас, и мы не видели первые мгновения встречи.

А когда мы вошли, трое мужчин в черных монашеских одеждах стояли, поднявшись из-за стола. Трапезная показалась полутемной после ярчайшего дня. Ближе всех ко мне стоял высокий худой монах в вязаном жилете и шапочке, похожей на лыжную и сдвинутой чуть набок. Он улыбался, близко посаженные глаза рассматривали меня с живым интересом.

Я молча поклонилась и подошла под благословение.

Он благословил, но не протянул для поцелуя руку, как обычно, а только слегка коснулся ладонью моей головы. И так же благословил сына.

Сели за стол. Игумен во главе его, отец Давид рядом. Напротив меня – монах с угольно-черными глазами и густой бородой, назвавшийся иеродиаконом Венедиктом. Только невысокий послушник, тоже черноглазый и чернобородый, в скуфье, в подряснике, подпоясанном ремнем, остался стоять.

Дощатый стол и две деревянные скамьи с потемневшими прямыми спинками занимали почти всю трапезную. Глиняное блюдо с крупно разломленным лавашем стояло посередине, между блюдами с помидорами, огурцами, зеленью. В открытой банке варенья гудела оса.

Отец Давид произнес несколько фраз по-грузински. Игумен чуть приподнял брови и склонил голову, глядя на меня так же открыто, доброжелательно, но и слегка насмешливо:

– Надо благодарить Бога и радоваться. С вами произошло чудо... Сколько сейчас людей имеют глаза – и не видят, имеют уши – и не слышат...

– Да, чудо... – отозвалась я. – Так мы и живем последний год – радуемся о Боге и благодарим.

– И сын разделяет... эти настроения?

– Разделяет... – серьезно и с некоторой поспешностью ответил сын.

Все засмеялись.

Послушник поставил перед нами кастрюлю и чистые миски.

– Суп остынет... – Отец Михаил поднялся. – Извините нас, у монахов не принято сидеть за столом с женщинами – трапеза тоже имеет мистический смысл. Пообедайте, потом мы еще поговорим.

Он остановился в дверях, касаясь притолоки верхом шапки, помолчал, посмотрел внимательно на нас обоих, улыбнулся и вышел.

Отец Давид по-грузински прочел «Отче наш»:

– Мамао чвено... – первые слова, которые я запомнила на грузинском языке.

Я разлила суп – в зеленоватой водичке плавали стручки фасоли, кусочки картошки и моркови.

– Это Арчил, послушник, суп варил, – пояснил отец Давид поощрительно, когда все вышли.

– Ничего, пища благословленная, – ответил Митя.

Зато очень вкусен был лаваш с зеленью, ломтиками помидоров и огурцов. Арчил открыл банку сгущенки. И после ухода отца Давида мы еще пили чай, утоляя долгую жажду и отдыхая от жары.

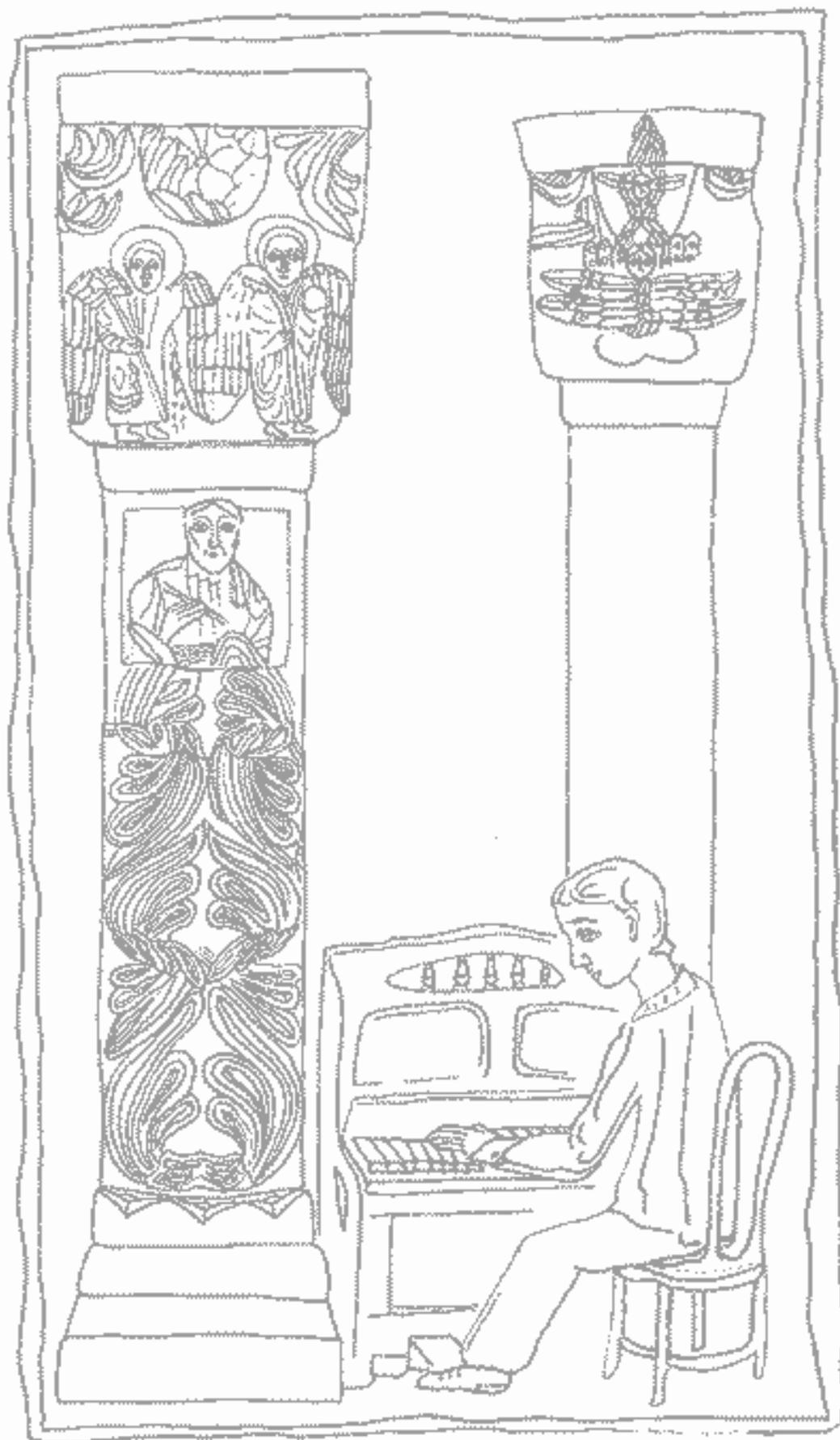
Свет падал через дверной проем и зарешеченное окно, выходящее в заросший травой монастырский двор. Мы огляделись. В углу застекленный шкафчик с продуктами, напротив двери – тумбочка и узкая койка. У стены сложены матрацы и одеяла, очевидно, приготовленные для будущих насельников монастыря. Три иконы над столом, литография с иконы Богородицы. Подсвечники на две свечи с оплывшим воском, большие глиняные кувшины. Все просто, строго и будто уже знакомо.

Вышли в тень под навесом террасы, опирающейся на столбы.

За чертой тени в высокой траве, как полупрозрачные светильники, нанизанные на стель, горели желтые мальвы.

Джвари был огромен. Изломы крыши, сверкающей новым листовым железом, возносились над сосной, а купол плыл в облаках.

Изнутри храм сплошь в лесах. Под ними, в отделенной от алтаря части с жертвенником, Митя увидел фисгармонию. Открыл крышку, и сильные звуки отозвались под куполом.



– Фисгармония может стоять сто лет и не расстроиться... – Он сел спиной к жертвеннику и принялся импровизировать.

Я устроилась на досках рядом.

Полоса света падала через оконный проем, проявляя часть фрески.

Подошел Венедикт и молча опустил на корточки у стены рядом с фисгармонией. Так он и сидел неподвижно, расставив согнутые в коленях ноги, облокотившись на колени и сплетя пальцы. Выгоревшая вельветовая ряса, когда-то синяя или фиолетовая, давно потеряла цвет, из-под ворота торчали тесемки нижней рубахи. И сапоги задубели, потрескались, порыжели. Смотрел он слегка исподлобья, и темный взгляд был сосредоточен на чем-то, не относящемся к нам. Сильно лысеющая со лба голова, вмятина на переносице, как будто перебитой, черные, крупно выющиеся волосы и мелко выющаяся черная борода – в лице была характерность и выразительность, но выражение его не было мне понятно.

– А ты можешь сыграть, что будут петь на панихиде по мне? – спросил он вдруг.

– Нет...

– Ты еще в похоронах не понимаешь. Сколько тебе лет?

– Уже скоро будет шестнадцать.

Венедикт неопределенно покачал головой, как будто ожидал большего. Так они переговаривались в паузах, потом Митя увлекся – он мог играть часами. Некоторое время спустя я обернулась: игумен сидел на нижней перекладине лесов и слушал, подперев кулаком щеку, а отец Давид стоял рядом. И Митя заметил их.

– Ты играй, не отвлекайся, – сказал игумен. Но все, конечно, сразу отвлеклись.

Вместе стояли под лесами. Отец Михаил говорил, что храм построен еще при царице Тамаре, в двенадцатом веке. Некий царедворец, князь Орбелиани, участвовал в заговоре против нее. Заговор раскрыли, князя насильно постригли в монахи и выслали сюда. Он дал обеты не по своей воле, но считал, что перед Богом обязан их исполнить. Джвари он строил для себя, и это был один из самых богатых монастырей.

– А теперь, если хотите, я покажу вам его келью.

Венедикт принес ключи, открыл тяжелую дверь в пристройке. Отвалил настил из досок, как крышку люка. Под ним обнаружился спуск в подвал. Мы сошли по перекладинам и оказались почти в полной темноте. Игумен зажег три свечи, и в зыбком свете, отбрасывающем наши бесформенные тени, обозначился провал в стене.

– Наклоните головы и войдите. Не пугайтесь, там сложено то, что осталось от прежних монахов.

Дневной свет совсем не проникал в этот земляной мешок. Митя обвел свечой низкий потолок, дощатый барьер вдоль стены...

Несколько черепов лежало за барьером, под ними тускло белела груда костей.

– Скоро и мы будем так выглядеть... – мрачно пообещал Венедикт, должно быть, склонный к гробовому юмору.

– Надо почаще сюда заходить, чтобы не забываться. А мне лучше вообще остаться здесь.

– Это и есть княжеская келья? – уточнил Митя.

– Это монашеская келья... – ответил игумен. – Такие кельи и нужны монахам, чтобы спрятаться от мира... А ты, Димитрий, хотел бы здесь поселиться?

– Хотел бы... – нерешительно сказал Митя.

– Это плохо. Такой подвиг нам не по силам. – На лице игумена перемежались отсветы и тени. – Надо бы отслужить здесь панихиду...

Выбрались на свет, вернулись в храм. За лесами невозможно было рассмотреть росписи. Только круглолицая царица Тамара со сросшимися бровями, в короне, ктитор<sup>2</sup> с макетом храма

---

<sup>2</sup> Строитель (груз.)

в руке и сын царицы занимали свободную стену. Странно было представить, что восемь веков назад здесь же стоял опальный князь. Как видел он это лицо царицы? С гневом? С молитвой о ненавидящих и обидевших нас? Или примиренно, с благодарностью за то, что через царскую немилость Бог проявил Свою высшую волю о нем, некогда гордом князе, расточавшем дни в заговорах, пирах и охотах?

Игумен рассказывает, что в краски подмешивали минералы и толченые драгоценные камни, поэтому фрески сохранились почти тысячу лет и не потеряли глубины цвета. Реставраторы только укрепляют росписи, чтобы не осыпались. Они работали прошлым летом и должны приехать дня через два-три.

Мы переглянулись с отцом Давидом. Когда мы собирались идти в Джвари, с реставраторами он связывал мой единственный шанс остаться в монастыре: среди них были две женщины. А одной больше, одной меньше – не все ли равно?

– Наверху, – отец Михаил указал под купол, – есть Страстной цикл: «Тайная Вечеря», «Распятие»... Позже вы поднимитесь туда. Реставраторы от росписей в восторге, хотя для них евангельские сюжеты потеряли связь с Богом. Из слов игумена лучше всего я услышала слово «позже»: неужели и правда у нас есть будущее здесь?

Мы заговорили о современном искусстве, о культуре, по словам отца Павла Флоренского, отпавшей от культа, а потому лишившейся корней. О живописи – иконописи, потерявшей Бога. О быте и семейном укладе, обо всем строе жизни, – формы которых иногда и сохранились, а сердцевина иссохла, как в орехе, когда скорлупа цела, а внутри прах...

Раньше в Страстную Пятницу люди шли с цветными фонариками: несли домой свечу из храма. От этой свечи зажигалась лампада в красном углу, от лампады – очаг; и освящался дом, очаг, пища, сваренная на очаге, освящались поля и плоды. И сам человек освящался через Причастие от небесного огня, сходящего на землю во время литургии, и каждое событие жизни благословлялось Богом – через крещение, венчание, отпевание умерших...

– Конечно, идиллии не было никогда, – говорил игумен. – Таинства не действуют магически. И освящается человек по вере – бывает даже, что причащается в осуждение... Но не было и такой пустыни, когда тысячи, сотни тысяч людей даже не знают, что такое Причастие.

Вот совершалось одно из чудес, которыми живет мир Божий: мы стояли на краю земли, в храме, укрытом в горах, – два грузинских монаха, священник-грузин и мы с сыном, только что вошедшие в их мир и всем строем судьбы иноприродные им. Но у всех нас, вместе с князем-монахом, построившим храм, была общая родина – наше небесное Отечество, и там нас уже соединили узы не менее прочные, чем узы родства.

– А теперь многие говорят, что верят в Бога, но не принимают Церковь. Чем вы это объясняете? – спрашивает Венедикт.

– Это просто невнятное ощущение, то есть нечто более высокое, чем мы сами, мир иной. Но что это за мир и что вмещает слово «Бог»? Даже примиряясь с существованием Бога, рационализм старается подменить Его безличным духом или идеей. Все это ни к чему не обязывает, а для многих и ничего не меняет. Для современного сознания гораздо труднее принять Христа как Бога, принять тайну Евхаристии, поверить, что в образе хлеба и вина мы причащаемся Его Плоти и Крови.

– Вы принимаете эту тайну? – спрашивает отец Михаил.

– Теперь я принимаю все таинства Церкви. Пять последних лет я и потратила на то, чтобы к ним приобщиться, – сначала разумом, потом сердцем, плотью и кровью. Вся жизнь стала таинством и откровением Тайны.

Игумен стоял, опираясь рукой на доску над моей головой:

– Вы говорите высокие вещи. А мы здесь люди простые. Мы знаем только, как надо жить, чтобы спастись.

– А я как раз этого и не знаю. Мы оба говорим о высоком, но вы – как власть имеющий, а я – как книжники. Ему понравилось, что я понимаю это сама.

Игумен и отец Давид ушли через двор и дальше по холму – там поднималась над деревьями крыша игуменской кельи. Давид оставался духовным сыном отца Михаила и хотел исповедоваться.

Решалась и наша участь.

Мы с Митей вышли погулять. Но вскоре вернулись, сели на выступе стены у раскрытых ворот.

Наконец они оба появились в воротах. Игумен постукивал прутом по голенищу сапога, едва прикрытого сверху старым подрысником, – наверно, в монастыре не нашлось подрысника, достаточно длинного для его роста.

– Ждете? – улыбался он.

– Ждем.

– А чего ждете? – поинтересовался он вежливо.

– Что вы разрешите нам остаться.



Он сел на каменный выступ рядом с Митей.

– И как это вы сюда добрались, странники? Вас там не ищут?

– Нас некому искать, вся семья здесь.

– Этого достаточно: *Где двое или трое собраны во имя Мое...*

– ...там Я посреди них, – не удержался Митя.

Все улыбнулись.

Отец Давид тоже смотрел на игумена выжидательно. Очевидно, и он еще не знал, как все решится.

– Пора к вечерне готовиться... – Игумен поднялся. Постоял напротив нас в воротах, будто раздумывая.

И сказал просто:

– Ну что ж, оставайтесь...

– Слава Богу... – Я тоже невольно встала, засмеялась, а на глазах выступили слезы.

**«Да исправится молитва моя...»**



*Ангел Господень возвещает женам-мироносицам о Воскресении Христовом. Фрагмент фрески. Храм святого Саввы в монастыре Сапара. Грузия, Самцхе-Джавахети. Кон. XIII – нач. XIV в.*

Маленькую базилику рядом с главным храмом открыли к службе.

Строгая, простая, совершенных пропорций, она по-своему хороша. Светлые каменные плиты под треугольной крышей из того же камня, никаких излишеств. Только орнамент плетенки вдоль портала, над ним – крест в круге. Да узкий проем окна обведен рельефными линиями в форме ключа от рая, украшающего восточные фасады древних грузинских церквей.

Пока строители возводили высокие стены главного храма, увенчивали его барабаном, пока живописцы толкли драгоценные камни из княжеской казны на краски для Голгофы, сам князь молился в этой базилике, похожей на часовню.

Мы с Митей обошли ее вокруг и опять оказались у пристройки над кельей первого монаха. Дверь была приоткрыта, и Митя заглянул в полутьму.

– Димитрий, заходи, – позвал оттуда Венедикт, – мы тебе сапоги подберем.

Пристройка использовалась под кладовую и была загромождена шкапами, ящиками, корзинами, горами старых церковных журналов, разобранными ульями.

Иеродиакон извлекал на свет сапоги, вроде тех, которые носил сам.

– А зачем мне сапоги? – осведомился Митя.

– Это традиционная монашеская обувь. А ты тоже будешь носить все монастырское, хочешь?

– Как не хотеть... – ответил Митя словами отца Давида и обернулся ко мне, удивленно раскрыв глаза.

Сапоги он выбрал на взгляд, наименьшие по размеру, хотя и тот оказался сорок вторым.

– Ничего, я научу тебя надевать портянки, и будут как раз, – одобрил Венедикт.

Из старой одежды, висевшей в шкафу, он извлек рубашку, свитер, рваный на локтях, солдатские штаны и, наконец, подрысник, очень длинный. Его шил для себя охотник, посещавший монастырь. Он не очень хорошо представлял, как шьются подрысники, и сшил рясу с широкими рукавами, но с круглым вырезом на шее.

– Попроси у Арчила скуфью. Потом возьми всю одежду сразу и подойди к игумену, чтобы он ее благословил.

Пока Митя примеривал скуфьи, Арчил смотрел на него с блаженной улыбкой, щуря глаза, чтобы скрыть их влажный блеск. Скуфью выбрали суконную, четырехгранную, плотную, как валенок.

С кучей одежды в одной руке и сапогами в другой Митя пошел в храм.



Игумен вышел из алтаря. На нем уже была свободная греческая ряса, прямая, без талии, с широкими длинными рукавами. Голову вместо черного клобука, придающего монаху царственный вид, украшала простая афонская камилавка.

Митя переступил высокий порог и попросил благословения. Я остановилась на пороге.

– Бог благословит, – сказал игумен очень серьезно и широко перекрестил все сразу. – Я желаю тебе стать монахом.

Митя тихо пошел переодеваться.

А я осталась в храме и через раскрытую дверь смотрела, как Венедикт звонит к вечерне. Прямоугольная рама вмещала ослепительный день, зеленый лес на холме за зеленым двором. Три колокола, большой и два поменьше, подвешенные на балке между соснами, и старый дом

с террасой, и колокольный звон – я видела, слышала все с той чистой радостью, с той пронзительной отчетливостью, когда впечатления остаются в тебе на долгие годы. Когда-нибудь потом они всплывают с такой же свежестью, но уже окрашенные печалью.

Отец Давид облачился в фелонь и вошел в алтарь, чтобы отслужить свою первую в Джвари вечерню.

Арчил зажигал лампы – их было всего две – перед образами Богородицы и Спасителя. Без скуфьи голова послушника с загорелым безволосым теменем, с удлиненными, как на древних восточных рельефах, глазами и черной бородой казалась похожей на голову ассирийского воина. Но выражение глаз было кротким, и вместо меча рука держала лампаду.

И Венедикт облачился в рясу, такую же как у игумена, ее чернота как будто еще сгустила черноту бороды и глаз.

В проеме двери появился мой сын – в скуфье, в подряснике, подпоясанном веревкой, в сапогах. Глаза его сияли.

Такой счастливой улыбки я у него не видела никогда. Игумен, стоя у аналоя рядом с Венедиктом, поднял голову:

– Ну, смотрите, Димитрий стал совсем как настоящий монах.

И отец Давид вышел из алтаря посмотреть. Все заулыбались, заговорили по-грузински.

Началась вечерня. Мерным глуховатым голосом игумен читал девятый час. Храм был как раз достаточен для того, чтобы пять человек разместились в нем. Во время каждения отцу Давиду не нужно было обходить церковь; стоя перед затворенными царскими воротами, он показывал всех молящихся и все три стены с места. Если чуть сильнее взмахнуть кадилом, можно достать им каждого из нас и даже коснуться стен, потому он только слегка приподнимал и опускал руку. Кадильный дым уплывал в открытую дверь, истаивая на лету.

Тихо, сосредоточенно, с резкими гортанными звуками непривычной для моего слуха грузинской речи игумен, дьякон и послушник запели «Господи, воззвах...». И древнее трехголосие наполнило малый объем храма.

– Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи...

Митя рядом со мной прислонился к стене. Тонкая шея белела в вырезе подрясника.

В глазах у меня стояли слезы.

Думала ли я пять лет назад, когда узнала, что есть Бог и крестила сына, что вся его жизнь, как и вся моя, без остатка, хлынет в это глубокое русло...

– Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Воздеяние руку моею – жертва вечерняя...

Братия отвели для нас палатку над обрывом. Раньше в ней жил Арчил, а теперь он переселился в трапезную.

В палатке есть стол – широкая доска, прибитая к ящику от улья, и два ложа – такие же широкие доски, прибитые к ящикам от ульев. В монастыре был пчельник, но в прошлом году пчелы погибли от какой-то повальной болезни, и теперь на их разрушенных жилищах зиждется монашеский быт.

Палатка стоит сразу за сетчатой оградой двора, светлея в траве брезентовым верхом. В трех шагах за ней земля круто обрывается вниз. Там, в узкой прорези между кудрявой зеленью склонов, поблескивает река, отрезая монастырь от чужой земли. Фиолетовые цветы кипрея стоят на обрыве. А выше, за дощатым домиком – кельей отца Венедикта, – спускаются амфитеатром светло-серые пласты обнаженной породы и уходит в гору лес.

Вскоре после службы отец Давид подошел проститься, сожалея, что остаемся мы, а не он. И уже благословив нас, сказал, что «джвари» – это по-грузински «крест», а полное название – монастырь Святого и Животворящего Креста.

Из кучи имущества, сложенного в трапезной, Венедикт добыл матрацы и, после усердных поисков, два комплекта нового белья в сиреневый цветочек.

Мы принесли к себе Казанскую икону Богородицы, подсвечник, фонарь, глиняный кувшин для воды, умывальник со стерженьком. Его Венедикт прибил на дереве немного ниже палатки, где треугольным мысом кончался склон. Траву на склоне он предложил Мите скосить.

Я приводила в жилой вид нашу обитель, надевала свежие пододеяльники на ватные, тоже новые, одеяла, тихо радуясь нечаянно обретенному уюту и чистоте пристанища.

Потом со склона стал слышен разговор.

– Что ты тут делаешь? – Это негромкий голос игумена.

– Кошу траву. – Это мой сын.

– Ну и как, получается?

– Не получается.

– И, ты думаешь, почему?

– Наверно, потому, что я не умею.

– А я думаю, потому, что ты благословение не взял.

Когда еще через час я вышла, горы за ущельем тонули в мягком полумраке. За четким силуэтом храма догорал закат, опалив края облаков, сгустившихся и потемневших. И каждая ветка, каждый лист дерева были отчетливы в контрастном теплом свете.

Игумен и Митя сидели рядом на склоне, чуть ниже в нескошенной траве валялась коса. Отец Михаил обхватил колени руками, и в его позе, как и в разлитом вокруг вечеряющем воздухе, была тишина.



Мне тоже хотелось посидеть с ними. Но при моем приближении игумен неторопливо поднялся, подобрал косу.

– Устроились? Идите спать, вы устали сегодня... – И потому что мы не двинулись с места, добавил с тихим удовлетворением: – Так мы и живем здесь, как в скиту...

Он благословил нас, уже не крестя и не коснувшись головы, только словами и ушел вверх, к своей келье.

А мы с Митей сидели на траве, пока совсем не погасло небо. Горы вокруг, и Джвари, и все, что случилось в этот переполненный день, было так нереально, что мы не могли бы уснуть сразу, нам надо было к этому привыкнуть.

В палатке было совсем темно, когда ударил колокол – шесть раз, бронзовый длинный звук.

Холодно. На хребте горы за ущельем – черные тени деревьев. И в темном клубящемся небе едва голубеют призрачные просветы.

Тропинку вниз устилают скошенная трава, мокрая от росы. Мы так и не узнали, когда игумен успел скосить ее.

Мы умываемся холодной водой, туман тянется из ущелья.

А в семь уже звонят к утрени.

В храме темно, только теплятся две лампы перед бедным иконостасом. Привычно пахнет ладаном, переплетами старых книг, лампадным маслом, воском.

– Раз вы не понимаете языка, творите про себя Иисусову молитву. Сколько сотниц получится на первой службе, столько читайте и потом. Ты тоже, Димитрий... У тебя есть четки?

У Мити есть нитка в пятьдесят узелков, подаренная ему недавно.

Отец Венедикт зажег огарок свечи и начал читать. Негромко отозвался из алтаря игумен. После пышности и многолюдья городских церквей эти тихие службы мне будто и посланы для того, чтобы научиться сосредоточенной молитве.

Я передвинула первый узелок на четках: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя...» До сих пор я больше читала о молитве, чем молилась, как читала и о заповедях, не умея ни одной до конца исполнить.

– Сколько насчитали? – спрашивает игумен, присев на низкую дощатую скамью перед трапезной.

– Три сотни.

– Почему так мало? Ну-ка, как вы это произносите?

Я произнесла.

– А почему вы опускаете слово «грешную»? – Он чуть наклонил голову, вслушиваясь.

– Но все уже сказано словом «помилуй»... в нем подразумевается сознание вины.

– Нет, нет, вы мне объясните, что это вы там подразумеваете... Что вообще такое грех, грехопадение?

Он снял жилет, шапочку, не глядя положил их рядом, как будто приготовившись долго слушать. Волосы его, мелко вьющиеся, гладко зачесанные назад, открывают большой лоб и запавшие виски, а под затылком стянуты в узелок. Худое лицо с зеленоватыми, близко поставленными глазами нельзя назвать красивым, но его одушевляет интенсивная внутренняя жизнь.

Солнце уже припекает, искрится в траве роса.

Как я это себе представляю – грехопадение?

Адам ходил в раю пред Богом. Он еще не сотворил зла и был прозрачен для воли Господней. А это означает всеведение и совершенную радость. Адам ходил в райском саду и давал имена деревьям, зверям и птицам, потому что он прозревал их суть, а имя запечатлеvalo ее. Он держал на большой ладони семя и знал, как оно расцветет, и знал вкус плода. Он мог отвечать птицам. Язык всякой твари был понятен ему, и всю тварь вмещало его любящее сердце.

Древо Жизни росло посреди рая, его плоды питали Адама соками жизни вечной. И Древо познания добра и зла стояло рядом, но Бог заповедал не вкушать его плоды. Это была первая заповедь, предостережение:

*...ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.*

Бог дал Адаму жену, подобную ему, и райская их любовь была блаженной и полной жизнью духа, взаимопроникающего, отражающегося в другом.

Но искушитель, еще в начале времен отпавший от этой полноты и блаженства, сказал себе: «Они не знают, что такое смерть, и потому ничего не боятся. Пойду и разлучу их с Богом».

Он стал приходить к Еве и беседовать с ней наедине.

– Бог обманул вас, – говорил он. – Есть Ангелы, знающие добро, и есть силы тьмы, служащие злу, – они ограничены и несвободны. Но человек превыше всей твари, превыше сил небесных и преисподних. Только он, как Бог, наделен высшим свойством существ духовных – свободой, и свобода делает его богоподобным. Но какая вам польза от обладания этим даром, если вы не знаете его вкуса? Вот плод, прекрасный на вид и ароматный. Может быть, все плоды рая не сравнятся с ним? Совсем не одно и то же – знать Бога и самому быть богом. Бог обманул вас, потому что ревнив и хочет оставаться единственным властелином Вселенной. Но вкусите – и будете как боги, знающие добро и зло.

Еве нравились его речи, потому что он обещал ей то, чего не мог дать Адам. Еве льстили его речи.

«Почему я должна творить волю Бога, если у меня есть своя?» – думала Ева, впервые уравнивая мысленно себя с Ним и отделив свою волю от Его воли.

Она ласкала взглядом золотистый плод, касалась его ладонью, губами, предчувствуя жгучую тайну, и все плоды рая стали ей пресны. Она прокусила кожуру: вкус был необычайный – сладкий, и горький вместе, и терпкий...

Ева дала плод Адаму, и он вкусил. И они увидели, что наги.

«Плоть ее притягательна для меня и вожделенна не меньше, чем эти яблоки», – думал Адам.

– Адам, где ты? – позвал любящий голос Бога. Адам устыдился своей наготы и вожделения, которого не знал раньше, пока был целомудрен – целостно мудрствовал и целостно любил. И он спрятался от глаз Божьих.

– За то, что ты не послушал Меня, проклята земля, – сказал Бог, печально глядя на лучшее из своих творений. – Со скорбью будешь добывать хлеб, пока не возвратишься в прах, ибо из праха ты был Мною создан.

Что случилось со слухом Адама? Он больше не понимал голосов птиц. Что случилось с его большим сердцем? Раньше оно вмещало всю тварь, а теперь опустело, и он забыл имена, которые дал зверям и рыбам, цветам и травам. И вместо радости было только желание радости, вместо любви – желание любви. Что случилось с глазами Адама? Он перестал видеть живой, благодатный свет, разлитый в воздухе райского сада, пронизывавший каждый лист и плод.

Лукавый обещал дать больше Бога, чтобы отнять все.

И выслал Господь Адама и жену его из Эдема. А на востоке у входа в рай поставил Херувима с огненным мечом, стерегущего Древо Жизни, чтобы перестал вкушать от него Адам и грех его не стал вечным.

И познал Адам Еву.

И в этом познании была сладость и горечь, неутоленность и предчувствие пресыщения.

– Господи, Ты слышишь меня? – заплакал Адам.

Но никто ему не ответил.

Тогда он узнал вкус свободы. Он узнал страх и узнал смерть.

– Все это литература, – неодобрительно покачал головой игумен. – Мы не можем знать, как было в раю. И не надо развешивать в райском саду сухие плоды своей фантазии. Сейчас стало модно растаскивать Библию и Евангелие на притчи. Великие тайны религиозной жизни низводятся до литературного сюжета, до уровня наших умствований.

Грехопадение – тоже одна из тайн. Но с тех пор, как пал первый человек, каждое новое поколение продолжает этот путь вниз. Обратного движения пока не было. Так называемый прогресс в том и состоит, что люди все больше погрязают в материи, обращаются не внутрь себя, к Богу, а вовне. Но *дух животворит, плоть же не пользует нимало*.

Святые отцы так определяли состав человека: дух, душа, плоть. Дух Адама питался от Бога, душа – от духа, плоть – от души. Теперь человек перевернут вниз головой: его дух питается от души, душа – от плоти, а плоть – от материи. Повреждены основы, и вся система порочна.

Мы рождаемся и растем вместе с семенем греха, он в наших желаниях и страстях. Мы пришли к вере и начали это понимать. Но из нашей собственной жизни большая часть прошла без Бога. Сколько мы совершили за это время зла? И куда, вы думаете, оно исчезло? Оно в нашей плоти и крови, как и первородный грех. Каленым железом его надо выжигать всю оставшуюся жизнь. И чем ближе человек к Богу, тем больше ощущает свою греховность. А вы опускаете «грешную»...

– Святые отцы по-разному говорили: «...помилуй мя, грешного» – и просто «помилуй мя».

– Ох! – взрывается он вдруг. – Они были святые отцы! И те говорили: «...пришедший в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз». И это не риторика!

Они уходили в пустыни, ночи простаивали в покаянном плаче. Одного праведного старца спрашивали: «Как же ты считаешь себя самым грешным, если больше всех молишься, постишься, делаешь добрые дела?»

«А уж не могу вам объяснить – как, – он им отвечает, – только наверняка знаю, что я самый грешный».

Афонский старец Силуан ни одного блудного помысла не принял за тридцать пять лет в монастыре, и тот говорил: «Скоро я умру, и окаянная моя душа снидет во ад...» А вы подра-зу-ме-ва-е-те...

Он даже в воздухе произвел такой легкомысленный жест, выражающий несерьезность моего слова. И Митя, устроившийся на скамеечке рядом с отцом Михаилом, засмеялся.

– Плач должен быть, покаянный вопль: «грешную»! Путь христианской жизни – покаяние; средства – покаяние и цель – покаяние. А все, кто стремится к высоким духовным состояниям – до очищения от страстей, – они в прелести. Вы потому и «подразумеваете», что не чувствуете по-настоящему своей греховности. Потому и начинаете от Адама – это проще, чем увидеть себя.

Я села рядом на скамью, отодвинув к стене кувшин:

– Себя я чувствую сейчас так: все прежнее, что наполняло жизнь, прошло, но и другого я пока ничего не имею. Как сосуд, из которого вылили воду, но еще не налили вина. – Я постучала по глиняному доньшку. – Пустота. И ожидание, что Бог ее заполнит...

– И это уже кое-что... но ох как мало! Сознать пустоту и ощущать свою «мерзость пред Господом» – это разные состояния.

В трапезной за решеткой окна Арчил позвякивал мисками, накрывая стол. Игумен обернулся:

– Совсем заболтался я с вами. А почему? Это все гордость. Куда от нее денешься? Молчишь – гордишься: вот я какой молчальник. Говоришь – опять гордишься: вот как я хорошо говорю, какой я умный. Мы шага не можем сделать без греха, слова вымолвить, даже взглянуть. Так что молитесь, как всем нам подобает: «Помилуй мя, грешную...»

Он было поднялся, но вдруг вспомнил:

– А почему вы закрываете глаза, когда молитесь? Я-то думала, он и не видел, как я молюсь.

– Чтобы не рассеиваться.

– Сколько же времени в день вы можете провести с закрытыми глазами? А как откроете, так и рассеетесь? Учитесь молиться так, чтобы со стороны это не было заметно, и чтобы от вас это не требовало никаких исключительных поз.

Подвижники стяжали непрерывную Иисусову молитву. Он работает – и молится, ест – молится, разговаривает – тоже молится. Молитва уже сама творится, даже во сне. Понимаете, что это значит? Такой человек всегда предстоит Богу. Это никуда не годится, если есть отдельное время для молитвы, отдельное – для жизни, совсем не похожей на молитву. Разрыва не должно быть: всю жизнь нужно обратить к Богу, как молитву...

Он посидел, опустив на колени сплетенные руки, подумал.

– Вот ты, Димитрий, решил, что я все исполняю, о чем говорю? А я до двадцати восьми лет был некрещеным разбойником. Да и теперь это для себя повторяю, как невыученный урок.

В двенадцать Венедикт зазвонил к трапезе. Обедала я после братии, а Митя с ней вместе. Мы вступали в ту область, где у него было больше прав.

Я попросила игумена назначить мне послушание.

Он подумал и отказался:

– Когда монаха принимают, и то дают ему отдохнуть первые дни. Поживите как гости, посмотрите на мир вокруг. Купайтесь, Венедикт вам покажет спуск к реке. Только одна далеко не ходите.

– Но мне бы хотелось и делать что-нибудь для общей пользы.

– Заметьте себе, в монастыре ни на чем не настаивают. Послушание, которое вы для себя выпросите, уже не послушание, а ваша воля, и ему грош цена. – Он раздумывал, как будто не зная, стоит ли продолжать.

– К тому же пока вы настолько не представляете себе нашей жизни, что можете от души постараться для нашей пользы, а в каком-то неожиданном смысле это всем выйдет боком.

– Но если я вымою посуду, это вам не повредит?

– Ну, посуду помойте, это и нетрудно.

Пообедав, Митя зашел за мной в палатку, и мы вместе вернулись в трапезную. Меня поджидала большая миска овощного салата, жареные баклажаны, накрытые в сковородке крышкой.

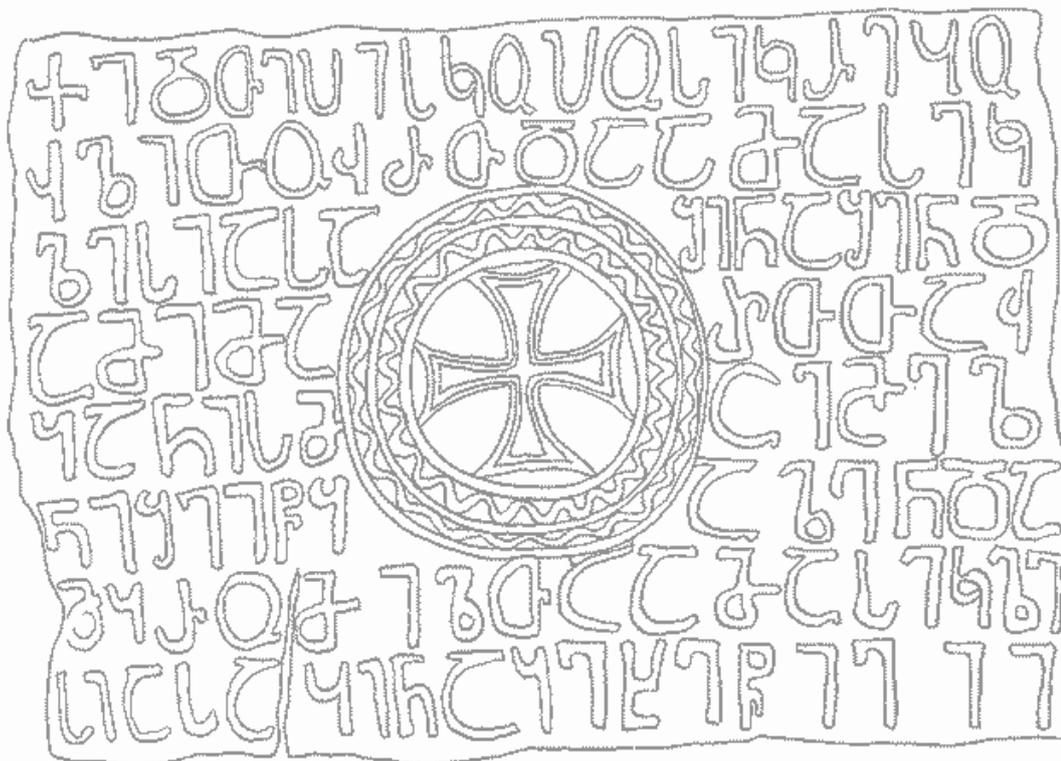
– Кто это нажарил такие вкусные баклажаны? – спросила я, когда Венедикт проходил в смежную комнату.

– Вам понравились? – весело блеснул он глазами. – С Божьей помощью – грешный Венедикт. Вы тоже можете жарить такие.

– Пока мне позволена только черная работа.

– В монастыре нет черной работы, любая посвящается Богу... – ответил он из-за стены. – А ты, Димитрий, чем занимаешься?

– Я просто сижу с мамой.



– Хочешь, я буду учить тебя хуцури? Это древнегрузинский, на котором написаны все богослужебные книги. – Он появился в дверях с развернутым листом. Это была азбука, написанная в два цвета, одни буквы поверх других. – Будешь с нами вместе читать на службе.

Пока я убирала со стола и мыла миски на роднике за воротами, они уже сидели рядом, и Венедикт выводил в тетрадке крупные буквы. Вид у него был очень усердный.

– Сестра Вероника, может, вам не нравится, что другие едят, а вы убираете? – спросил он, поднимая черную голову и глядя то ли сочувственно, то ли иронически. – Вы, наверно, не привыкли. Тогда лучше скажите, чтобы не было ропота.

– Не могу сказать, что это мое любимое занятие. Но здесь мне и оно нравится.

– Это хорошо, – кивнул он.

– Когда мы пришли сюда, все показалось таким родным, будто этого я и ждала всегда.

– Тоже хорошо.

– Не знаю. А что мы будем делать, когда придется уезжать?

– До отъезда еще дожить надо, времени много.

Мы были свободны до сентября, а игумен пока не ограничил срок нашего пребывания.

– Это такая ловушка, отец Венедикт. Всегда кажется, что времени еще много, а потом вдруг обнаруживаешь, что его уже нет.

## Лорелея и другие



Ангел. Фрагмент фрески «Благовещение». Храм Аteni Сиони. Грузия, Гори. X–XI в.

От ворот монастыря я поднимаюсь по широкой дороге в гору. Дорога каменистая, с выступами растрескавшихся глыб, осыпями и следами шин – по ней через перевал проходят грузовые машины и «газики». Мне хочется посмотреть, куда она ведет, и выйти на такую точку, откуда далеко видно. Иногда я сворачиваю в рощицу и иду по мертвой листве, сквозь которую пробиваются большие белые и мелкие лиловые колокольчики. За поворотами открывается поляна, которую мы видели с другой стороны ущелья, когда шли в Джвари с отцом Давидом.

Вблизи поляна светлей и нарядней. Знакомо подсвечивают высокую траву фонарики мальвы, белеют, розовеют понизу клевер и кашка. Дорога вдоль края поляны уходит еще круче в гору, и у последнего ее поворота стоит двухэтажный дом, окруженный садом, – единственный хутор в окрестностях. Несколько стогов свежего сена поодаль один от другого возвышаются над травой, как шатры, а между ними ходит рыжая лошадь, часто взмахивая хвостом.

Легкое марево зноя смещает очертания деревьев. Летают коричневые бабочки с белой оторочкой по крыльям, кружатся в слепящем дне, празднуя свое недолгое лето.

Деревья вдруг начинают уходить вниз, дорога тоже круто идет под уклон, а над ней поднимается скала с круглым выступом посередине. Осыпая из-под ног камни, цепляясь руками за колючие стебли, я вскарабкалась на этот выступ и села.

Это идеальная смотровая вышка. Сверху меня заслоняет скала, над ней осталась поляна с хутором, внизу за деревьями едва сквозит дорога.

А впереди и вокруг открывается такая даль, что взгляд не охватывает ее сразу. Земля вздымается мощными, поросшими лесом складками, и каждая поляна, рощица, каждый обрыв ясно видны в сияющем свете. Вереница гор тянется за ущельем, которое мы видели с седловины, над которым стоит и наша палатка. В одном месте желтые песчаниковые обрывы похожи на полуразрушенные крепостные башни. Я нахожусь на самой высокой точке местности, и дальние хребты – на уровне моих глаз, а склоны спускаются к той же речке, такой мелкой и такой бесконечно длинной.

Оттуда, с нижней границы леса, поднимается орел и парит подо мной, распластав огромные в размахе крылья. Медленными кругами, внизу широкими, а выше все уже и уже, он поднимается над горами. Он так хорошо виден, что я различаю светлые в коричневом перья подкрылий и голову с клювом, повернутую в мою сторону. Орел тоже смотрит на меня, и на минуту мне становится жутко под его хищным взглядом. Потом он превращается в черную точку, за которой уже трудно следить, так долго длится это парение, потом и точка растворяется в белом небе.

Звонят цикады, и, кажется, что звон их и зной заполняют пространство.



Всю жизнь я куда-то ехала, спешила понять, написать, и все казалось, что надо ехать и познавать дальше – там, наконец, все исполнится и завершится.

Как жадно я раньше стремилась вобрать в себя эту красоту земли и моря, запомнить, унести с собой, и не насыщалось око видением, а ухо слышанием. Казалось, что эти обостренные впечатления и заменяют мне счастье, и если так долго смотреть, что-то раскроется за игрой форм, света, красок, потому что она не может быть напрасной. Но оставалась та же неутоленность. Красота только обещала и звала, но существовала как будто вне связи с моей жизнью, не принимая ее в расчет. Пустынный, совершенный, бесцельный мир вечно переливал свои краски и линии, но я не была укоренена ни в этой вечности, ни в этом совершенстве.

И вот все разорванные звенья соединились, и мир получил верховное оправдание и смысл. Не стало ни эстетических восторгов, ни зияющей пустоты под ними – тихо стало в душе. Только на поверхности ее легкой рябью проходили мысли, но мне хотелось, чтобы и они затихли, и душа стала прозрачной, как глубина воды, высвеченная солнцем.

Возвращаясь, я вижу игумена. В том же выгоревшем подряснике и сапогах, в старом жилете, в черной вязаной шапочке он сидит на садовой скамье у родника.

– Вы гуляете будто по Тверскому бульвару... – В его интонации сквозит необходимая насмешка. – Вот представьте, есть разница в том, как видят мир два человека: один едет в карете, другой идет по дороге в пыли за этой каретой. Вы прикатили сюда в карете. Чтобы научиться смирению, нужно по крайней мере из нее выйти.

Я сажусь на скамейку, радуясь его прямоте.

– Хотите изменить жизнь – начинайте с самого простого. Все здесь ходят в старой одежде, в сапогах. А вы появились в белой блузке изящного покроя, в белой юбке и босоножках...

Я засмеялась, вспомнив, как переодевалась у ручья в эту кофточку из ситца в нежный цветочек, которую надевала только однажды, на Пасху. И ведь все видит, а я думала, он и не отличит изящного покроя.

– Да и сейчас... – Он коротко взглянул и отвернулся. – Посмотрите на монашеские одежды. Молодая женщина в апостольнике и подряснике уже не имеет возраста. Архиерейские облачения подчеркивают достоинства сана, а не мужские достоинства. Все подробности скрыты, выявляется сущность. В духовной жизни нет мелочей. А блузочки, цветочки, прически – все это брачное оперение.

– Дайте мне подрясник, я с удовольствием его надену.

– Еще бы, конечно, подрясник вы наденете с удовольствием, даже гордиться будете. А вот неприметную серенькую одежду, платок на голову – этого вам не захочется.

– Носить платок здесь, в горах, в тридцатипятиградусную жару – едва ли можно придумать что-нибудь хуже...

– А я, вам кажется, родился в этом платье? – Он приподнял край подрясника. – Привыкайте. Все женское, бросающееся в глаза, надо убрать. Короткие стриженные волосы – это очень женственно...

Он коснулся взглядом моей головы, как будто мгновенным жестом ее погладил, и отвернулся.

А в следующее мгновение лицо его приняло знакомое выражение, доброжелательное и чуть насмешливое.

– В общем, выходите из кареты, уже приехали. Дальше придется идти пешком.

– Но вы-то вместо сапог разве не могли бы в жару носить обувь полегче?

– Чем свободней плоти – тем теснее духу. Не только сапоги, пудовые чугунные вериги носили прежние монахи. Да и теперь носят, только каждый свои. А вы хотите легкими стопами войти в Царствие Небесное?

Восковая свеча поникла над подсвечником, как увядающий стебель. В палатке сухой жар.

На монастырском дворе дремотная тишина. Отец Михаил уехал и вернется дня через три. Венедикт исчез после трапезы.

Только Арчил сидит на каменной скамейке, полукругом идущей от родника, кормит собак. Он обмакивает хлеб в банку рыбных консервов и подает по куску то Мурии, то Бриньке, ласково с ними разговаривает.

Большая черная Мурия заглатывает свой кусок сразу. А маленькая Бринька, белая, лохматая, сначала валяет его по земле, топчется вокруг на коротких лапах, и ее квадратная мордочка выражает детское недоумение. Никто не знает, откуда она взялась, но раз пришла, и ее поставили на довольствие. Арчил выдает каждой собаке свое, драться из-за куска им не приходится, живут они мирно и бегают вдвоем, впереди Мурия, за ней Бринька. Обе привыкли к постной монастырской пище, но иногда туристы приносят мясо, и тогда монахи отдают его собакам на «велие утешение». Собаки знают, что в храм заходить нельзя, и во время службы лежат на траве за порогом. А когда Венедикт звонит в колокол, Мурия садится, задрав голову, и подвывает.

– Любите собак? – спрашивает меня Арчил. – Хотите их кормить?

Я соглашаюсь, хотя говорю, что сейчас мы идем купаться. И предлагаю поставить у родника две миски – большую Мурии, маленькую Бриньке. Арчил кивает, но высказывает осторожное предположение, что собаки могут не догадаться, какая миска чья. Мы смеемся, а Бринька в ожидании куска прыгает на колени Арчилу и заглядывает ему в глаза.

От небольшой фигуры Арчила, от смуглого, чернобородого лица веет доброжелательностью и покоем. Сам он никогда не начинает разговор, отвечает приветливо, но немногословно. Улыбается он часто, – такая безоглядная, краткая улыбка бывает только у чистых сердцем.

- Вы давно в монастыре? – спрашивает Митя.
- Всего полгода. Совсем еще молодой послушник, как и ты.
- У меня было впечатление, что вы жили здесь всегда, – говорю я.
- Мне самому так показалось, когда я пришел в Джвари.
- А чем вы занимались до того?
- Трудно объяснить, – улыбается он виновато. – Работал в институте марксизма-ленинизма.

Этого я от него никак не ожидала.

– Я окончил исторический факультет и даже собирался пойти по партийной линии. Но, к счастью, далеко меня не пустили. А потом я понял, что нельзя ничего приобрести на земле, если ничего не имеешь на небе; что ни построишь – все развалится...

*– Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его...*

– Да, да... Ведь люди ищут пути к блаженству, к счастью. А кто может быть блажен? «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем...» – смиренно разъясняет Арчил. – Ходите в законе Господнем, и все будет хорошо. Он все указал – пути, и средства, и цели.

Но люди, как Адам с Евой, верят не Богу, а обольстителю, – думаю я. Он обещает пути короче, напрямик. Что остановит их, если они сами, “как боги”? Кто скажет: не убий, не прелюбодействуй? И все дозволено, все рядом, но ухватил – а в руках пустота. “Обольщение” “прельщение”, “прелесть” – от корня “лесть”, что по-славянски означает “ложь”.

Человек возвышен над всем творением до богоподобной свободы, до возможности выбора: молиться Богу или Его распинать. И это страшный удел человеческой свободы: пройти путь самоутверждения без Бога, отречения от Него, путь блудного сына и понять, что путь этот ведет к распаду, гибели души и мира.

Только поймут ли это люди раньше, чем погибнут?

Или погибнут раньше, чем поймут?

Тропинка заросла травой и полевыми цветами – этот спуск к реке нам показал Венедикт.

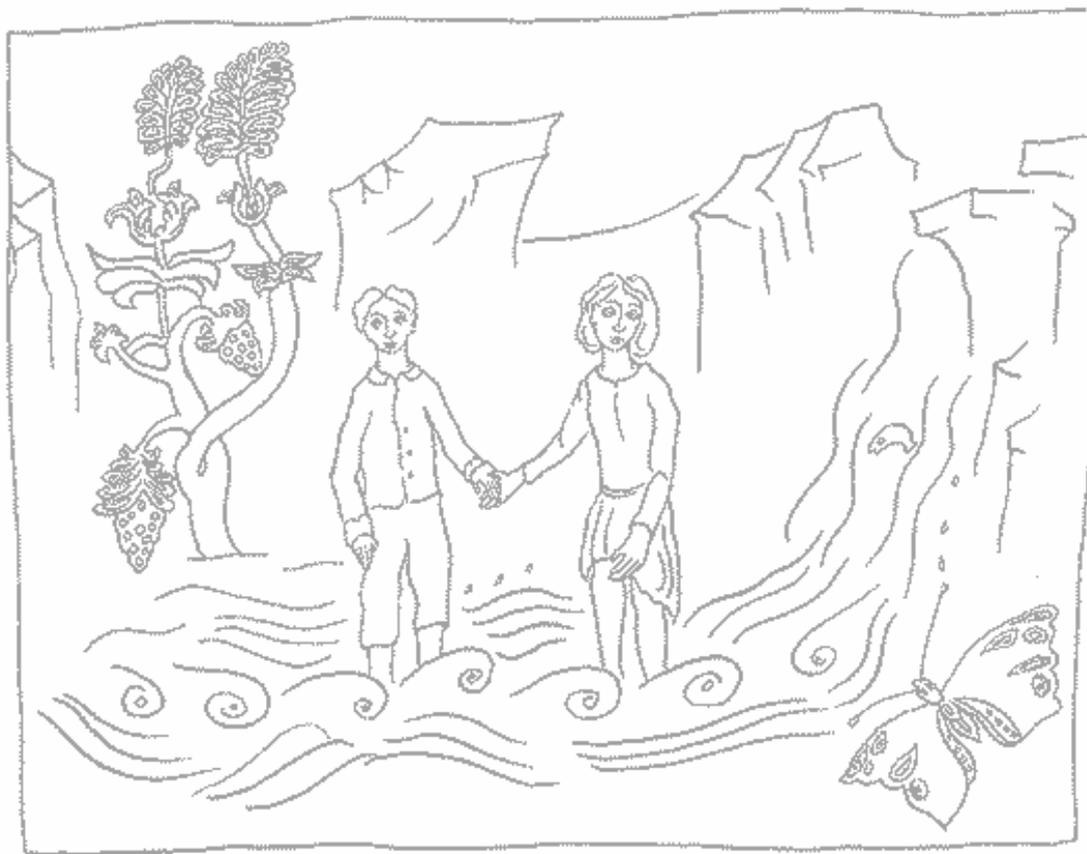
– Вы тоже ходите купаться? – спросил тогда Митя.

– Нет, я вообще месяц не мылся.

Мы засмеялись, приняв это за шутку. Но сразу решили, что Венедикт несет такой подвиг или епитимию, удручая плоть.

Воды в реке по щиколотку. Она течет быстро, прозрачно обволакивает каменистое дно, сверкает, слепит глаза – в эти дни много солнца. Ущелье так узко, что местами берега не остаются, и деревья прямо от воды поднимаются вверх по стене. Речка вьется, повторяя бесчисленные изгибы ущелья, и за каждым изломом обрыва открывается иной пейзаж, замкнутый спереди и за нами – раскрытый только вверх. Там, в небесной высоте, неподвижно стоят деревья.

Остановились мы в закрытой бухте с небольшим водопадом и отвесными берегами. Блестящие, как графит на изломе, пласты под одним и тем же углом поднимаются вверх, создавая причудливый геометрически четкий рисунок. Края пластов нависают один над другим зубчатыми остриями, расслаиваются под рукой на звонкие пластинки.



На каменистом мысе под скалой, заросшем лопухами, мы вошли в воду.

Митя прислонился спиной к камню под водопадом, сверкающие струи стекали по его голове, по плечам, рассыпались мелкими радугами. В лопухах остался подрясник и сапоги, и мальчик мой брызгался и смеялся, совсем забыв о послушническом достоинстве. А я лежала на каменистом дне, и каждая клетка кожи радовалась движению воды, ее прозрачной свежести.

Часа через два собрали одежду и пошли босиком вверх по реке под бормотание и лепет воды. На тенистой поляне нашли обломки жерновов – остатки монастырской мельницы. А дальше ущелье расширилось, но в половину высоты было завалено глыбами камня. Вода по камнепаду неслась бурно, в брызгах и пене. Мы повернули обратно, неся в себе ощущение свежести и чистоты.

Отец Венедикт окликнул меня из окна трапезной.

Он сидел перед большой миской с блекло-зелеными стручками фасоли, разламывал их, рядом стояла миска с картошкой и баклажанами.

– Я готовлю грузинское блюдо – аджапсандали. Вы можете научиться, если хотите.

Я пожалела, что вчера не нарвала колокольчиков, их можно было бы поставить на стол.

– Мы редко ставим цветы, – ответил дьякон, – разве что в праздник одну розу перед иконостасом. В монастыре все должно быть жестко, строго. Чем больше красоты, тем больше соблазна.

Чуть ниже монастыря над обрывом есть поляна со старой садовой скамейкой на чугунных ножках. После вечерни я вышла посидеть здесь, посмотреть на закат.

Вскоре появился отец Венедикт. За ним шла босиком молодая рослая женщина.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.